



В. А. ПЫПИНА-ЛЯЦКАЯ

Владимир Сергеевич Соловьев

Страничка из воспоминаний

В 1886 году Владимир Сергеевич Соловьев стал печатать в «Вестнике Европы» свои статьи и стихотворения, а к 1889—1890 гг. относится начало его сближения с постоянными сотрудниками этого журнала. Тогда-то в редакции «Вестника Европы» познакомился с ним и мой отец, Александр Николаевич Пыпин¹. Скоро между ними сложились дружественные отношения.

Люди различного миропонимания в строго философском смысле этого слова, различных поколений и разного круга, оба они были кристально ясны душой и доверчивы, как дети. Именно это их роднило.

Отец любил Соловьева нежным чувством, как исключительного человека, и умиленно радовался на него, как старший на младшего, вдохновенно несущего в мир заветные, святые истины добра и правды. Соловьев отвечал ему бережным вниманием и особенной, трогательной почтительностью младшего к старшему, не поколебленному в своих верованиях испытаниями жизни.

При всем том чувствовалось, что у каждого из них мысль была направлена в свою особую область. Но они никогда не затрагивали тех вопросов, в которых могла бы отразиться их рознь. Соловьев дарил отцу «Оправдание добра», «Жизненную драму Платона», свои стихотворения, «Три разговора», которые сам захотел прочесть у нас еще до их напечатания. Когда же с его предисловием и под его редакцией вышел перевод книжки о «телепатических явлениях»², то эту книжечку он подарил мне и, обратившись к отцу, сказал, улыбаясь: «Вы ведь этого, Александр Николаевич, читать не станете, это не по вашей части...»

Беседа отца с Соловьевым шла по преимуществу о современных им общественных вопросах и событиях, в оценке которых они были совершенно солидарны, а затем они обыкновенно уса-

живались играть в шахматы. К шахматам отец особенно страстился за последние 15—20 лет своей жизни. Играл он недурно, но как дилетант, и смотрел на игру как на отдых от своих постоянных занятий. Он вечно искал для себя «жертвы», как любил выражаться, и такой «жертвой» всегда с готовностью становился Владимир Сергеевич. Они игравали в шахматы также у Стасюлевичей, после субботних обедов.

В начале знакомства с Соловьевым отец часто звал его к себе по воскресеньям в наиболее для себя свободное обеденное время. Но мы, молодежь, не очень этим бывали довольны. Соберутся, пользуясь воскресным досугом, к каждому из нас приятели и приятельницы, привыкшие чувствовать себя у нас совсем непринужденно, и вот извольте целый обед сидеть молча, слова не проронив, потому что обмениваться какими бы то ни было впечатлениями в присутствии Владимира Сергеевича, к которому мы чувствовали особенно почтительное уважение, казалось нам невозможным. Еще хорошо, если он и отец ведут интересную, хотя подчас и малодоступную для нас беседу, а случалось — и притом весьма часто, — что оба погружаются в глубокое раздумье, занятые своими мыслями. Они способны были не замечать окружающего, а для нас это становилось настоящей пыткой. Концу обеда мы радовались, как освобождению от неволи.

Уже хотели мы было просить отца приглашать Владимира Сергеевича в иной день, а не по воскресеньям, когда случайное обстоятельство открыло нам, что знаменитый философ и ученый был на редкость простым и доступным человеком и что, быть может, наша собственная застенчивость мешала ему самому ближе познакомиться с нами.

Дело было так. В одно из воскресений собралось нас за обедом человек пятнадцать. Был и Соловьев. Рядом с ним, по обыкновению, сидел отец, который в этот день не особенно хорошо себя чувствовал. Вдруг отец сильно побледнел, и голова его склонилась на плечо Соловьеву.

С отцом никогда не бывало обмороков, и понятно, как все взволновались, увидев его мертвенно-бледным и безжизненным.

Его унесли в кабинет, привели в чувство, послали за доктором.

Все были в подавленном настроении.

Соловьев не ушел. Он остался среди чуждой ему молодой компании. Как заговорил он, не помню, знаю только, что в один миг он овладел всеобщим вниманием. Просто, по-товарищески стал он рассказывать о своем путешествии в Египет, которое, по-видимому, произвело на него большое впечатление. Вспоминал

особенно подробно о том, как посещал там различных аскетов, таившихся от людей, селившихся в шалашах по пустынным местностям, как на себе проверял их мистические экстазы. Хотел видеть знаменитый Фаворский свет — и видел.

С большим юмором рассказывал он также о своих злоключениях в Италии, когда он, поднимаясь на Везувий с двумя знакомыми дамами, повредил себе ногу и лишен был возможности продолжать путешествие. Последние деньги истратил он на чудные розы, которые послал своим спутницам, и жил в гостинице в долг, ожидая присылки денег из Москвы. В гостинице сначала ему охотно открывали кредит, но потом стали косо поглядывать. Владимир Сергеевич все более и более сокращал свои потребности, стал уже питаться одним кофе. Деньги все не шли. Как только нога поправилась настолько, что явилась возможность передвигаться, он обратился к русскому консулу, рассказал о своей беде, дал о себе необходимые сведения и просил ссудить деньгами. Консул выслушал серьезно, денег дал, но выразил сожаление, что у столь знаменитого, уважаемого человека, как историк Соловьев, такой «беспутный» сын. Вернувшись в гостиницу, Владимир Сергеевич велел подать себе шампанского и как можно больше роз. Хозяин гостиницы стал называть его князем.

Рассказывал Владимир Сергеевич искренно и с увлечением. Преграда была сломлена: с недостигаемой высоты философского достижения он снизошел на ступень добродушного, милого человека.

Он рассеял удрученное настроение.

Тогда он пошел к больному, ласково побеседовал с ним и оставил всех успокоенными.

На следующее утро Владимир Сергеевич пришел узнать, что у нас делается, и радовался, что гроза миновала.

С тех пор он был не только для наших отца и матери, но и для всех нас желанным гостем.

Когда мы с мужем поселились на отдельной квартире и по вторникам у нас собирались друзья и знакомые, то нередко заглядывал к нам и Владимир Сергеевич. Сидят они с отцом за шахматами, вокруг идет веселая болтовня, поются романсы, ставятся шарады. Соловьев и за шахматами все слышит, за всем следит, первый угадывает шарады и смеется так заразительно, что, глядя на него, неудержимо смеются и все присутствующие.

А когда в 12 часов отец уйдет к себе домой, Владимир Сергеевич почувствует себя совершенно привольно. «Теперь мы без

старших», — шепнет он мне, раскинется на тахте и просит, чтобы ему пели цыганские романсы (это была единственная музыка, которую он признавал). По-видимому, он любил иногда быть среди непритязательного, веселого общества, где мог ни о чем не думать, ничем не стеснять себя, сбросить с себя ответственность «избранника», каким не мог себя не сознавать. А душа у него была младенческая, и недаром он так хорошо понял моего брата, когда тот однажды сказал при нем: «Когда я буду большой...» (ему было уже за тридцать). Все засмеялись. «А я так вас понимаю, — заметил Владимир Сергеевич, — я также часто про себя думаю: когда я буду большой...»

Он любил слушать цыганские романсы за стаканом вина, любил рассказывать забавный анекдот, прочитать шутливое стихотворение или свои пародии на символистов: «Горизонты вертикальные...» или «На небесах горят паникадила...» Не пропускал он также случая, чтобы не вспомнить Козьму Пруткова.

Как-то однажды поздно у нас засиделись. Догорали огни (электричества у нас еще не было), допивалось вино. Всегда очень застенчивый, ныне покойный, брат мой, набравшись храбрости, говорит, обращаясь к Соловьеву: «Владимир Сергеевич, вот Лиза (наша близкая родственница) меня под столом толкает, чтобы я просил вас прочесть что-нибудь, а ведь уже поздно». Соловьев рассмеялся. «Отчего же, — говорит, — прочту с большим удовольствием. Есть у вас Прутков?»

Прутков был под рукой, и Владимир Сергеевич с большой серьезностью прочел рассказ «Не всегда слишком сильно» — забавную историю о том, как «холостой и притом видный из себя инженер повадился навещать магистра разных наук», дабы «на чужой домашней неустройке храм собственного благополучия возвести».

Владимиру Сергеевичу сразу вспомнился именно этот рассказ потому, что сущность его в том, что герой за трапезою выражал свои чувства супруге хозяина, «носком своей обуви таковой же хозяйкин прикрывая», и, наконец, «с толикою нетерпеливостью хозяйкино колено натиснул», что она, «взорами поблекши», чужим голосом воскликнула: «Увы мне — чашка на боку!» Мораль была очевидна.

Дочитывал «историю», Владимир Сергеевич при неумолкавшем смехе присутствовавших, а потом и сам разразился своим звонким, несколько демоническим смехом, так не гармонировавшим с его загадочным взором, таинственно полуприкрытым веками и лишь иногда открывавшим свой неземной блеск.

Когда же сосредоточенный, погруженный в свои думы Владимир Сергеевич бывал молчалив, в такие минуты жизнь шла мимо него. «Он отсутствует», — говорил о нем отец, не смущаясь таким состоянием своего друга. Оно часто овладевало им, особенно во время прогулок по Петергофскому или Царскосельскому парку, когда отец подчас и сам погружался в подобное же небытие, обдумывая свои очередные работы.

Но однажды даже его удивил Владимир Сергеевич.

— Сегодня Соловьев был какой-то совсем особенный, — сказал он.

В ближайшую среду они встретились в редакции.

— А заметили вы, Александр Николаевич, что я был странный у вас? — спросил со смехом Соловьев.

— Заметил.

— Это на меня луна так действовала (они гуляли в лунно-туманный вечер в петергофском Нижнем саду) и повергала меня в поэтическое настроение. А вот вам и результат.

Соловьев передал отцу стихотворение:

Пусть тучи черные грозящую толпою
 Лазурь заволокли, —
 Я вижу лунный блеск: он их тяжелой мглою
 Не отнял у земли.
 Пусть тьма житейских зол опять нас разлучила,
 И снова счастья нет, —
 Сквозь тьму издали таинственная сила
 Мне шлет свой тихий свет.
 Края разбитых туч сокрытыми лучами
 Уж месяц серебрит.
 Еще один лишь миг, и лик его над нами
 В лазури заблестит.

(Стихотворения, СПб., 1900. С. 55)

Всегда охотно говорил Владимир Сергеевич о загадочных снах, созвучных настроениях или внушениях на далеком расстоянии, о предчувствиях.

Но иногда поражал совершенно неожиданными странностями.

Приехала я, помню, летом в редакционный день с отцом в город. Жду его на квартире. Щелкнул замок. Я в переднюю на встречу. С ним входит Соловьев. Поздоровались.

— Как вам нравится мой костюм? — спрашивает он меня.

Смотрю — пиджак поношенный, но совсем крепкий.

— Ничего, — говорю, — костюм недурен.

— Не правда ли? А сколько я заплатил? Угадайте.

Этот вопрос был уже сложнее.

«Ну, — думаю, — верно, недорого».

— Рублей шестнадцать, — говорю.

Владимир Соловьев принялся хохотать: два рубля!

— Да что вы?

— Уверяю вас. Я купил его в Парголове у татарина. Друзья все приставали: купи да купи костюм. Встретился на прогулке татарин. «Есть костюм?» — «Есть». — «Впору будет?» — «Как раз, — уверяет, — словно на заказ». И действительно...

«Наверное, с покойника или краденый», — мелькнуло у меня в голове.

Пожалела я Владимира Сергеевича за его детскую беспомощность, которая была часто в ущерб его здоровью. Ограничивая себя иногда в необходимом, он, однако, в то же время тратил не считая деньги на извозчиков, переплачивая им втридорога, на чай прислуге, на подавание нищим, отдавал все, что было, каждому, кто бы к нему ни обратился. Он считал, что для тех, кому он давал, деньги нужнее, чем ему самому. И по широте, с какой он оказывал помощь, чувствовался в нем большой барин, каким он и казался даже внешне, несмотря на случайную одежду, поношенную шляпу (купленную, впрочем, у Брюно, в лучшем тогдашнем магазине), небрежно накинутую на плечи разлетайку, стоптанные сапоги.

Бесконечно добрый и отзывчивый, он всегда был готов откликнуться на всякий запрос сочувствия.

Так и в тот день 1897 года, когда Мих. Н. Чернышевский³ зашел к моему отцу в редакцию посоветоваться, к кому можно было бы обратиться с просьбой написать статью о Николае Гавриловиче для «Закаспийского обозрения». Соловьев, услышав этот разговор (он сидел тут же, в редакционном кабинете), сказал: «Я напишу».

Хотя Соловьеву было о чем по этому поводу вспомнить, но я не сомневаюсь, что в основе его порыва было главным образом желание доставить удовольствие моему отцу: он знал, как дорого было ему каждое сочувственное слово о Чернышевском*.

* Подтверждение подобного внимания Соловьева к моему отцу встречается также в письме его к Стасюлевичу из Динара (27 окт. 1893 г.), где, говоря о приготовленной им для печати книжке «Основания эстетики» и о возможном переиздании одной из ее глав в статью, он замечает: «К тому же в ней есть нечто специально приятное для нашего приятеля, А. Н. Пыпина, именно некоторое заступничество за Чернышевского против Боборыкина, который недавно боборыкнул покойного в нашем московском философском журнале» (Письма В. С. Соловьева. СПб., 1908. Т. I. С. 114).

К сожалению, статья Соловьева не могла быть напечатана тогда по цензурным условиям*.

Тепло и образно рассказал Соловьев о том давнем вечере, когда отцу его Е. Ф. Корш и Кетчер привезли известие об осуждении Чернышевского на каторжные работы. Тогда уже — он еще был ребенком — у него сложилось, а позднее укрепилось из бесед со своим отцом «ясное представление о Чернышевском как о человеке, граждански убитом лишь за свои мысли и убеждения». Впоследствии, когда Соловьеву пришлось ближе познакомиться с делом Чернышевского, его «прежнее впечатление не только подтвердилось, но стало несомненной и непоколебимой уверенностью».

Скорбное негодование слышалось в словах бесконечно снисходительного Владимира Сергеевича, и жутко становилось, когда он говорил о том, что, по его убеждению, «в деле Чернышевского не было ни суда, ни ошибки, а было только заведомо неправое и насильственное деяние с заранее составленным намерением...»

Соловьев преклонялся перед чрезвычайной простотой и достоинством, с которыми Чернышевский встретил постигшую его беду.

«В теоретических взглядах Чернышевского я вижу важные заблуждения, — сказал в заключение Соловьев, — но нравственное качество его души было испытано великим испытанием и оказалось полновесным. Над развалинами беспощадно разбитого существования встает тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека...»

Нельзя забыть того глубокого волнения, которое пережили мы, слушая Соловьева. Его статья, после знаменитой статьи Герцена в «Колоколе»⁴, была первым горячим словом о неправом суде над Чернышевским, дело которого в те годы еще оставалось «тайным».

Последний вечер, проведенный мною вместе с Соловьевым, был вечер тихой беспричинной грусти.

Петербургская весна расцветала. Всего несколько человек собралось в субботу у Стасюлевичей: все, кто мог, уже успели уехать из города.

Около Любови Исааковны на диване сидел Соловьев. В открытую балконную дверь виднелось белое небо майской ночи.

* В 1904 г. ею весьма широко воспользовался редактор «Закаспийского обозрения» Федоров при составлении своей книжки «Н. Г. Чернышевский», а полностью она была напечатана лишь в 1908 г. как приложение к т. I «Писем В. С. Соловьева».

— Прочтем что-нибудь, — сказал Владимир Сергеевич. — Есть что-нибудь новенькое?

Любовь Исааковна дала ему только что появившуюся пьесу Минского «Альма»⁵.

Соловьев стал читать. Читал он просто, но отчетливо выступали схематически изображенные фигуры, условная, внежизненная их борьба за осуществление идеи социализации интимнейших чувств и душевных движений. Все тонуло в серо-белых тонах, вторивших прозрачной, белой, безжизненной ночи...

Через несколько дней, накануне своего отъезда, Соловьев заезжал к отцу проститься...

Соловьев уехал, а скоро пришло сообщение о его болезни.

Оно всех взволновало. С надеждой на благополучный исход и с какой-то мрачной тревогой ждал мой отец дальнейших известий.

Пришла телеграмма с роковым словом: скончался.

Поник головой отец. Не мог работать, тоскливо сидел за столом, перебирая пасьянс.

«Ах, Бог мой, Бог мой!» — временами тяжело вздыхал старец. Ушел из жизни большой человек, ясный, молодой друг...

